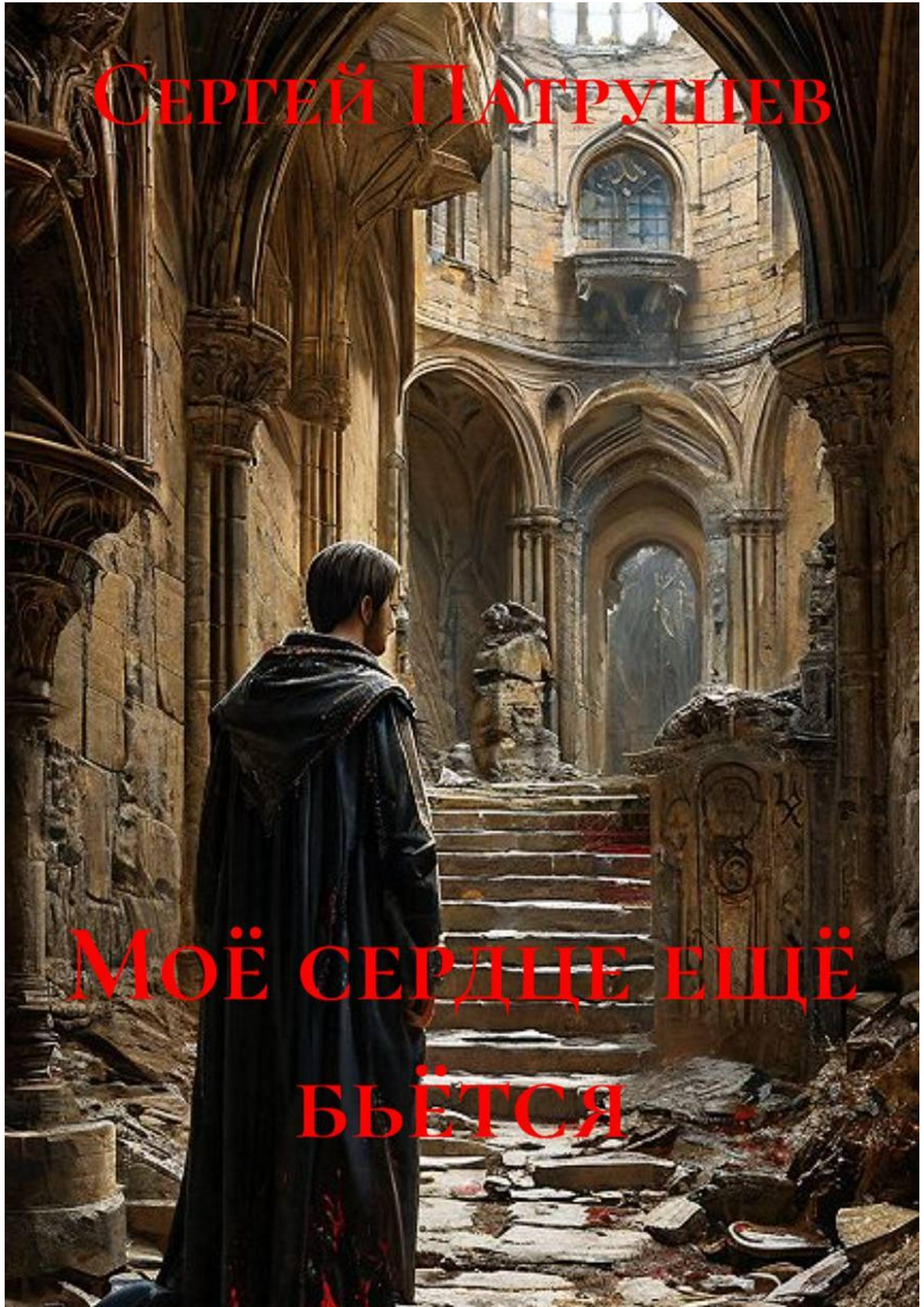


A man with short dark hair, seen from the side, stands in the foreground wearing a long black cloak with a fur collar. He is looking down a long, arched corridor of a ruined Gothic cathedral. The floor is covered in rubble and debris. In the distance, a bright light emanates from a large arched opening at the end of the corridor. The architecture features high vaulted ceilings and stone pillars.

СЕРГЕЙ ПАТРУШЕВ

МОЁ СЕРДЦЕ ЕЩЁ
БЬЁТСЯ

Сергей Патрушев

Моё сердце ещё бьётся

«Автор»

2026

Патрушев С.

Моё сердце ещё бьётся / С. Патрушев — «Автор», 2026

Его назвали пустым местом, бездарностью, ошибкой природы. На глазах у всей Академии декан вынес вердикт: магия - это дар, у вас его нет. Ступайте. Кай Айронвуд не ушёл. В заброшенном подвале, стирая пальцы в кровь, он начал строить свою собственную магию не ту, что даётся от рождения, а ту, что рождается из боли, веры и нежелания сдаваться. Никто не верил, что нуль способен стать величиной, но когда "пустота" начала поглощать чужие заклинания, а на стене Башни Мастеров загорелось его имя, система дала трещину. Говорят, он стал легендой, рядом с ним была та, что не проиграла ни одного боя и на воротах их Академии нет звёзд и мечей, только сердце и пока оно бьётся - ты непобедим.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1: Испытание муравья	5
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Сергей Патрушев

Моё сердце ещё бьётся

Глава 1: Испытание муравья

Тишина в Зале Испытаний была не просто отсутствием звуков. Это было физическое, давящее на барабанные перепонки вещество, сотканное из презрения, скуки и вековой пыли, осевшей на гобеленах. Она имела свой вкус — металлический, как кровь из прокушенной губы, и свою температуру — ледяную, пробирающую до костей, какую не встретишь даже в самых глубоких подземельях Академии. Кай Айронвуд стоял в центре рунного круга, выложенного потускневшей от времени бронзой, и каждой клеточкой своего существа впитывал эту тишину. Она поднималась от каменных плит пола сквозь истертые подошвы его сапог, ползла вверх по икрам, заставляя мышцы мелко дрожать, обвивала колени и поднималась к животу ледяной спиралью. К тому моменту, как она достигла груди, ему казалось, что сердце бьётся уже не о ребра, а о толстую корку льда.

Он знал, что на него смотрят. Не просто смотрят — препарируют. Расчленяют взглядами на составные части, раскладывают по полочкам, взвешивают и выносят окончательный, давно уже predetermined вердикт. Смотреть на него собрался весь цвет академического совета, люди, чьи имена гремели в магическом мире, чьи портреты висели в галерее славы, и чьи учебники зубрили поколения студентов. И все они, от маститых профессоров до допущенных к наблюдению старшекурсников, собрались здесь не ради того, чтобы оценить его магический потенциал. Нет, они пришли посмотреть на казнь. Публичную казнь бездарности, которая по какому-то недоразумению просочилась в эти священные стены и целых три года оскверняла их своим присутствием.

Амфитеатр вздымался перед ним уступами, уходя в густой полумрак под высоким куполом. Архитектор, строивший этот зал три столетия назад, знал толк в драматургии. Магические светильники, парящие под потолком, были настроены таким образом, чтобы не разгонять тьму, а подчеркивать её. Они выхватывали из мрака лица сидящих на скамьях профессоров резкими, безжалостными мазками света, оставляя всё остальное пространство в глубокой, таинственной тени. Это создавало ощущение, что ты стоишь не в учебном зале, а на дне глубокого колодца, а сверху, с недостигаемой высоты, на тебя взирают суровые боги.

Кай скользнул взглядом по этим лицам, и каждое из них рассказывало свою историю его неудачи. Во втором ряду, грузно осев на скамье и скрестив пухлые пальцы на объемистом животе, дремал магистр Боттомли. Специалист по артефакторике, гений своего дела, создавший не один десяток боевых амулетов для королевской армии. Но за этим гением скрывался старый, желчный мизантроп, который, по слухам, не поставил высший балл ни одному студенту за последние двадцать лет. Он свято верил, что современная молодежь деградировала до уровня троллей-камнеедов, и что настоящие маги перевелись еще во времена его молодости, когда трава была зеленее, а магические бури — разрушительнее. Даже сейчас, когда решалась судьба студента, он позволял себе дремать, всем своим видом показывая, что исход экзамена настолько предсказуем, что ради него не стоит даже бороться со сном.

Чуть выше, выпрямившись так, словно он проглотил аршин, сидел профессор Винклер. Теоретик чистой энергии, человек, чей ум был острее бритвы, а сердце — холоднее арктических льдов. Его узкое, бледное лицо, лишенное всяких эмоций, напоминало посмертную маску. Он смотрел сквозь Кая, будто тот уже был пустым местом, математической погрешностью в безупречной формуле мироздания, досадной опечаткой, которую следует просто исправить, вычеркнув лишнюю переменную. Кай знал, что именно Винклер еще два года назад на закрытом заседании кафедры предложил отчислить его без права восстановления, назвав «статистической аномалией, не представляющей научного интереса». Уже тогда это было жестоко. Сейчас, в контексте финального экзамена, это звучало как пророчество.

Рядом с Винклером сидела магистр Элиара фон Штерн, глава кафедры стихийной магии. Единственная женщина в совете, она была прекрасна той холодной, отстраненной красотой, которая свойственна снежным вершинам и произведениям искусства. Её серебристые волосы, стянутые в строгий пучок, блестели в свете магических ламп. Она не смотрела на Кая с презрением — нет, это было бы слишком эмоционально для неё. Она смотрела на него с легким, едва заметным оттенком брезгливого любопытства, как смотрят на насекомое под микроскопом, прежде чем прищипить его булавкой к картону. Кай однажды, на втором курсе, случайно подслушал её разговор с одной из ассистенток. «У него интересная аура, — сказала она тогда. — Не темная и не светлая. Скорее, она напоминает мутное стекло. Сквозь него что-то просвечивает, но что именно — разобрать невозможно». Тогда он воспринял это как комплимент. Теперь он понимал, что это был диагноз.

Но страшнее всех был декан Фаустус. Он восседал на центральном возвышении, в массивном кресле, которое язык не поворачивался назвать просто креслом. Это был настоящий трон, вырезанный из черного дуба, древесины, которая, по легендам, росла когда-то на месте древних капищ и впитала в себя энергию сотен кровавых ритуалов. Подлокотники трона были выполнены в виде оскаленных волчьих голов с рубиновыми глазами, которые в полумраке казались живыми, следящими за каждым движением жертвы. Высокая спинка, увенчанная гербом Академии — фениксом, пронзенным мечом, — уходила вверх, почти теряясь в тенях под куполом.

Сам декан был под стать своему трону. Старик, чей истинный возраст не знал никто. Говорили, что он помнил еще последнюю войну с Северной Империей, а это было сто пятьдесят лет назад. Он был облачен в безупречную мантию цвета запекшейся крови — оттенка настолько глубокого и насыщенного, что, казалось, ткань в любой момент может начать сочиться настоящей кровью. Длинная седая борода струилась вниз двумя волнами, сливаясь с мехом горноста на воротнике. Его лицо, изрезанное глубокими морщинами, напоминало карту высохшего русла реки, где каждая линия рассказывала о давно минувших бурях и потопах. Глаза, глубоко посаженные в темных глазницах, были закрыты. Тонкие губы сжаты в линию, не выражающую ни гнева, ни скуки — лишь абсолютную, божественную уверенность в собственной правоте.

Казалось, он спит. Но Кай знал, что это не так. За три года обучения он слишком хорошо изучил эту манеру старика. Декан Фаустус видел всё, даже с закрытыми веками. Он чувствовал малейшие колебания магического поля, как паук чувствует дрожь паутины, когда в неё попадает муха. Более того, он чувствовал страх. Кай был уверен, что старик смакует его страх сейчас, пробует его на вкус, оценивает его оттенки, как сомелье оценивает букет выдержанного вина. И, судя по легкой, почти незаметной тени удовлетворения, скользнувшей по его губам, страх Кая пришелся ему по вкусу.

— Курсант Кай Айронвуд, — голос декана прозвучал неожиданно мягко, почти интимно.

Он не открыл глаз. Его губы едва шевелились. Но звук его голоса, усиленный акустикой зала и какой-то собственной, внутренней магией, достиг каждого уголка амфитеатра. Этот голос обволакивал, проникал под кожу, звучал, казалось, прямо в голове у Кая. Он был мягким, как шуршание песка, затягивающего в воронку, как шепот змеи, убаюкивающей жертву перед смертельным броском.

— Мы собрались здесь, дабы узреть плоды вашего трехлетнего обучения, — декан сделал едва заметную паузу, и воздух в зале сгустился. — Трехлетнего, — повторил он, слегка выделив это слово, и где-то на верхних рядах, среди старшекурсников, послышался первый, еще робкий смешок, похожий на пробный камень, брошенный в воду, чтобы посмотреть, пойдут ли круги. — Продемонстрируйте же нам свою... компетенцию.

«Компетенцию». Это слово, произнесенное с такой убийственной иронией, повисло в воздухе, словно пощечина. Кай почувствовал, как к щекам прилила кровь. Три года. Три долгих, мучительных, невыносимых года. Целая вечность, спрессованная в тысячу дней бессонных ночей над пыльными фолиантами, бесконечных часов медитаций, попыток ухватить ускользающую энергию, которая для других была так же естественна, как дыхание. Три года тычков, насмешек, косых взглядов в коридорах и ядовитых записок, подброшенных в его комнату в общежитии. И вот она — кульминация. Момент истины. Простейшее заклинание из арсенала первокурсника.

Он должен был заставить воспарить небольшой металлический шар, лежащий сейчас на каменном постаменте в двух метрах от него. Обычный шар из полированной стали, размером с кулак. «Левитация объекта малой массы» — значилось в экзаменационном билете. Первый курс, первый семестр, третья неделя обучения. Азбука. База. Фундамент, с которого начинают свой путь сопливые дети в элитных магических пансионах, едва научившиеся читать. Для любого студента Академии это заклинание было тем же, чем для повара — умение разбить яйцо. Его выполняли автоматически, не задумываясь, между делом. Но для Кая эта «азбука» была высшей математикой, квантовой механикой, неподъемной гранитной плитой, придавившей его к земле.

Он поднял руку. Собственная ладонь показалась ему чужой, не принадлежащей его телу. Бледная кожа, проступившие голубые вены, легкая дрожь, которую он никак не мог унять. Он знал теорию. О, теорию он знал блестяще! Если бы экзамен заключался в написании трактата о левитации, он бы уже получил высший балл и звание младшего магистра. Он мог наизусть, слово в слово, с любой страницы, процитировать труды Мерлина-затворника о природе гравитационных потоков и способах их перенаправления. Он знал все семнадцать альтернативных теорий антигравитации, включая спорную работу Ариосто Черного, которую официально запретили к изучению как «потенциально опасную для неокрепших умов». Он мог с закрытыми глазами начертить мелом пентаграмму стабилизации поля — идеально ровную, без малейших отклонений от канона, так, что даже магистр Винклер, педант и зануда, не нашел бы к чему придаться. На бумаге, в теории, в мире формул и диаграмм, Кай Айронвуд был гением.

Но когда дело доходило до практики, до самого контакта с эфирной материей, до момента, когда знание должно было трансформироваться в действие, — между ним и магией будто вырастала невидимая стена. Он мог описать эту стену почти научно. Она была идеально

прозрачной, но абсолютно непроницаемой. Она была ледяной на ощупь, хотя он никогда не мог дотронуться до неё физически — лишь почувствовать этот холод где-то на уровне души. Она была тонкой, как лезвие ножа, и в то же время прочнее алмаза. Он напрягал волю, вытягивал все свои душевные жилы, посылал импульс за импульсом, вкладывая в них всю свою страсть, всю свою боль, все свои надежды — но они разбивались об эту стену, не оставляя на ней даже царапины. Он был похож на человека, который стоит перед дверью, ведущей в чудесный сад, видит сквозь стекло все его красоты, но не может повернуть ручку. И самое страшное — он не знал, поставил эту стену кто-то другой, или она всегда была частью его самого.

— Мы ждем, Кай, — раздался голос магистра Винклера.

Он не повысил тона, даже не изменил позы, но его слова, усиленные акустикой зала, хлестнули по нервам Кая, словно бич погонщика, подгоняющий упрямого осла.

— Или вы хотите, чтобы мы заказали сюда ужин, пока вы соизволите собраться с силами? Может быть, распорядиться насчет пледа? В подземельях, говорят, гуляют сквозняки.

По залу снова прокатился смех, на этот раз громче, увереннее, злее. Шутка Винклера, плоская и жестокая, словно открыла шлюзы. С задних рядов, где вольготно расположились старшекурсники, допущенные к наблюдению, донесся отчетливый, полный презрения шепот, который, впрочем, был достаточно громким, чтобы его слышали все: «Ставлю десять золотых, что этот бездарь сейчас устроит цирк. Может, хоть пожар устроит — будет на что посмотреть». Это был голос Маркуса Кромвеля, сына герцога, первого богача и первого задиры Академии. Его не любили, но боялись. Кай стиснул зубы с такой силой, что занесли скулы, а на висках вздулись вены.

Паника, липкая и тошнотворная, подступила к горлу. Она была похожа на мерзкое, склизкое существо, которое ползет вверх по пищеводу, грозя выплеснуться наружу криком, или слезами, или тем и другим вместе. Нельзя. Только не сейчас. Если он покажет слабость, если он даст им увидеть свой страх, это станет последним гвоздем в крышку его гроба. Они и так уже всё решили. Не нужно давать им дополнительного удовольствия.

Он сделал глубокий вдох. Воздух в зале был спертый, тяжелым, пропитанным запахом старых книг, горячего воска и чужого превосходства. Он задержал дыхание на несколько секунд, пытаясь унять бешено колотящееся сердце, а затем медленно, очень медленно выдохнул. Он заставил себя отбросить все мысли о профессорах, о зрителях, о Маркусе Кромвеле и его десяти золотых. Он представил, что находится один. Только он и шар. Он и задача. Субъект и объект.

Он сосредоточил взгляд на постаменте. Шар. Тусклый металлический отблеск на полированной поверхности. Идеальная сфера, символ совершенства и завершенности. Холодная тяжесть стали, которая, по законам физики, должна оставаться в покое, пока на неё не подействует какая-либо сила. Этой силой должен был стать он. Он представил, как энергия — его энергия — зарождается где-то в районе солнечного сплетения, в том таинственном центре, который восточные мистики называли «котлом силы». Он представил её как тончайшую золотистую нить, теплую и живую, пульсирующую в такт биению его сердца. Эта нить медленно, постепенно разматывается из клубка внутри него, скользит вверх, к плечу, обвивает руку, течет по предплечью, достигает запястья, ладони... И вот она уже на кончиках пальцев, трепещет, словно пламя свечи на ветру, готовая сорваться и исполнить его волю.

— Aetheris Levitas, — прошептал он слова-ключи.

Он не просто произнес их. Он вложил в эти два слова всё, что у него было. Всю свою волю, всю свою боль, все годы унижений, всю свою надежду на чудо. Он не просил магию подчиниться. Он приказывал ей. Приказывал с отчаянием обреченного, который знает, что это его последний бой.

И в тот самый миг, когда последний звук заклинания сорвался с его губ, когда золотистая нить его воли метнулась к шару, готовая окутать его и поднять в воздух, — в груди, где-то глубоко, на самом дне его существа, что-то проснулось. Это было не рождение энергии. Это было пробуждение. Слепое, яростное, голодное пробуждение чего-то, что всегда спало в нем, свернувшись в клубок, как спящий дракон. Что-то темное, чужеродное, не поддающееся никакой классификации. Это было похоже на ослепительную вспышку боли, бьющую изнутри, — удар молнии, который не рассеялся в воздухе, а остался внутри тела, прожигая внутренности. Оно перехватило поток светлой, золотистой энергии, смяло его, как бумажную салфетку в стальном кулаке, скомкало, перемешало с чем-то своим — темным, вязким, пахнущим озоном и древней грозой — и выплеснуло вовне, грубо исказив заклинание до полной неузнаваемости.

Вместо того чтобы мягко, плавно, как учили в учебниках, подняться в воздух, подчиняясь законам контролируемой левитации, шар на постаменте задрожал. Сначала мелко, почти незаметно для глаза, издавая тонкий, противный вибрирующий звук. Затем дрожь усилилась, перешла в крупную тряску, звук набрал высоту, превратился в скрежет, от которого заныли зубы. Шар раскалился изнутри, его поверхность пошла трещинами, сквозь которые пробивалось зловещее багровое свечение. А затем — кульминация — с оглушительным хлопком, который эхом прокатился под сводами зала, отразился от стен и вернулся, многократно усиленный, шар лопнул. Он не раскололся на две половинки, не упал на пол, раскрошившись в пыль. Он именно лопнул, взорвался изнутри, брызнув во все стороны десятком острейших осколков, каждый из которых нес в себе остаточный заряд той самой темной, искаженной энергии.

Один из осколков, самый крупный, с отвратительным визгом вонзился в деревянную кафедру в первом ряду, прямо перед носом магистра Боттомли. Толстяк, еще секунду назад сладко дремавший, подскочил на месте с такой прытью, какой от него никто не ожидал. Его глазки, заплывшие жиром, испуганно забегали, рот открылся в беззвучном крике. Еще один осколок, словно нарочно, с влажным, чавкающим звуком впился в древний гобелен, висевший за спинами профессоров. На гобелене был изображен сам Первый Магистр, легендарный основатель Академии. Осколок угодил точно в левый глаз портрета, выбив его и оставив на его месте уродливую дыру.

На какое-то мгновение, которое растянулось для Кая в целую вечность, в зале воцарилась абсолютная тишина. Ни смеха, ни шепота, ни дыхания. Только звон в ушах и медленно оседающая на пол металлическая пыль. Шоковая пауза, когда ни один мускул не шевелился ни у кого из присутствующих. Кай застыл с вытянутой рукой, не в силах опустить её, не в силах пошевелиться. Он чувствовал, как по лицу расползается предательский жар, как горят уши, как стыд, подобно кислоте, разъедает его изнутри.

Он провалил. Нет, он не просто провалил экзамен. Он устроил спектакль, катастрофу, форменное безобразие, которое войдет в анналы академических курьезов и будет пересказываться еще многие поколения студентов. Он стал посмешищем. Хуже — он стал опасным

посмешищем. Ведь то, что он сделал, было не просто отсутствием магии. Это была дикая, неконтролируемая, разрушительная сила. Он хотел провалиться сквозь землю, раствориться в воздухе, стать невидимкой, исчезнуть из этого зала и из этого мира навсегда.

Первым тишину разорвал не смех. Смех грянул позже, как гром после молнии. Первым был звук — медленные, размеренные, до тошноты ритмичные хлопки в ладоши. Хлоп. Хлоп. Хлоп. Каждый звук падал в тишину, как капля воды в переполненную чашу, грозя переполнить её. Это аплодировал декан Фаустус. Он открыл глаза. Впервые за всё время экзамена он соизволил поднять веки, и Кай увидел его глаза. Это были глаза не человека, а существа иного порядка. Темные, бездонные, лишенные белков, они напоминали два омута, в которых нет дна. В их глубине не было гнева. Не было разочарования. Там было кое-что гораздо худшее — холодное, брезгливое удовлетворствие, словно у врача, который подтвердил свой неутешительный диагноз и теперь может со спокойной совестью выбросить безнадёжного пациента на улицу.

— Браво, — произнес декан, прекратив хлопать так же внезапно, как и начал. Его мягкий, интимный голос без малейшего усилия перекрыл нарастающий шум. — Браво, курсант Айронвуд. Великолепная, я бы даже сказал, выдающаяся демонстрация. Вы превзошли все мои самые смелые ожидания. Я ожидал нулевого результата. Вы же продемонстрировали результат отрицательный. Именно то, чего я, признаться, и опасался.

И вот тут зал взорвался. Словно по команде, словно напряжение, копившееся все эти секунды, достигло критической массы и вырвалось наружу. Это был уже не тот сдержанный, приличный смех, что сопровождал язвительные реплики профессоров. Это был ураган, цунами хохота, неконтролируемый, животный, жестокий. Старшекурсники на галерке буквально заходились в истерике, хлопали себя по коленям, вытирали выступившие слезы. Маркус Кромвель, сын герцога, даже поднялся со своего места и, сложив руки рупором, чтобы перекрыть общий шум, заорал: «Эй, Айронвуд! С таким талантом к разрушению тебе не в маги, а в подрывники надо! Будешь взрывать сортиры у орков — глядишь, и прославишься!» Его компания поддерживала шутку одобрительным свистом и гиканьем.

Но смеялись не только студенты. Кай, оцепенев, но по-прежнему стоя на виду у всех, заметил, как дрогнули в усмешке уголки тонких губ магистра Элиары фон Штерн. Как несколько младших преподавателей, сидевших ближе к выходу, прикрыли рты ладонями, пытаясь скрыть улыбки. Этот смех, этот ядовитый, вездесущий смех был похож на кислотный дождь. Он жег кожу, разъедал последние крохи самоуважения, просачивался глубоко внутрь, в самое сердце, отравляя его своей горечью. Каю казалось, что он стоит голый на площади, и каждый прохожий считает своим долгом плюнуть в него. Его препарировали, выставили на посмешище, уничтожили — не физически, нет, физически он был цел, — но морально, психологически, душевно. От него не оставили камня на камне.

Он медленно, как во сне, опустил руку. Пальцы онемели, стали чужими и не слушались. Он едва чувствовал их. Весь мир вокруг приобрел какую-то размытую, нереальную окраску, словно он смотрел на происходящее сквозь толщу мутной воды. Звуки долетали искаженными, краски поблекли. Он стоял под этим шквалом насмешек, прямой, словно корабельная мачта, которую треплет свирепый шторм. Он не плакал. Слезы, которые так часто душили его на первых курсах, когда он часами просиживал над учебниками, не в силах зажечь даже простейший магический огонек, давно пересохли. Он не кричал, не оправдывался, не просил прощения. Его серые глаза — единственное, что было в нём по-настоящему живым, ярким и выразитель-

ным, — смотрели прямо перед собой. Их взгляд был прикован к одной-единственной точке — к черному дубовому трону декана. Он смотрел не на Фаустуса. Он смотрел сквозь него, в какую-то свою, далекую точку, где еще теплился уголек его собственной, никому не видимой правды.

Декан Фаустус, насладившись произведенным эффектом, лениво поднял ладонь. Его жест был исполнен такого величия и такой небрежной власти, что смех начал стихать мгновенно, словно кто-то повернул огромный, невидимый регулятор громкости. Не сразу, но стих. Отдельные смешки, как последние капли дождя после грозы, еще срывались с галерки, но основная масса зрителей уже затихла в предвкушении финального акта этой драмы. Воцарилась та самая, давящая, плотная тишина, с которой всё начиналось. Только теперь она была наполнена эхом недавнего хохота, звоном в ушах и сладковатым, тошнотворным привкусом чужого триумфа.

— Курсант Айронвуд, — начал декан, и каждое его слово падало тяжелым, неумолимым камнем на могильную плиту его мечты. Голос Фаустуса больше не был мягким. Теперь в нем звучал металл — холодный, бесстрастный металл судебного приговора. — Вы прибыли в нашу Академию три года назад, движимые, очевидно, юношескими фантазиями. Мечтами, не подкрепленными ни граном реального таланта. Вы похожи на человека, который, восхищаясь полетом птиц, решил, что и сам может летать, стоит только подпрыгнуть посильнее. Магия, юноша, — он позволил себе легкую, презрительную усмешку, — это не вода в колоде, которую можно вычерпать ведром упорства, сколько бы сил вы на это ни потратили. Магия — это пламя. Искра, которая либо есть в человеке от рождения, либо отсутствует. Её можно разжечь, если есть хотя бы тление. Но в вас, — он сделал драматическую паузу, обвел взглядом притихший зал, словно приглашая всех в свидетели, и его тонкие губы искривились в гримасе высшей степени омерзения, — в вас нет даже сырости. Вы — сухой, мертвый уголь, который не просто не может гореть сам, но еще и гасит любое пламя, которое пытаются разжечь рядом с ним.

По залу снова пробежал одобрительный шепоток. Сравнение было хлестким, образным и до обидного точным. Кай почувствовал, как внутри у него всё сжалось. «Мертвый уголь». Вот как он выглядит в их глазах.

— Три года, — продолжал декан, и его голос набирал силу, становясь похожим на раскаты далекого грома, — три года вы вводили в заблуждение приемную комиссию. Три года вы злоупотребляли нашим терпением, тратили драгоценное время наших магистров, ресурсы королевской казны и, что самое вопиющее, занимали место в Академии. Место, которое по праву могло принадлежать более достойному кандидату, обладающему настоящим Даром, а не его жалкой, убогой, пародийной имитацией. Вы не просто бездарны, Кай. Вы — черная дыра в магическом поле, аномалия, которая поглощает энергию, не отдавая ничего взамен, кроме разрушения. То, что мы видели сегодня — не просто провал. Это доказательство вашей опасности.

Кай слушал эти слова, и каждое из них было неправдой, смесью истины с чудовищной, уничтожающей ложью. Он не имитировал Дар. Он чувствовал магию! Чувствовал её каждой клеточкой своего измученного тела, каждым фибром своей истерзанной души! Она была для него не просто инструментом, не просто набором формул и жестов. Она была симфонией, прекрасной, божественной музыкой, которая постоянно звучала где-то на грани восприятия. Он слышал её постоянно: в шелесте ветра в кронах деревьев Зачарованного Сада, в мерцании звезд над башнями Академии, в тихом потрескивании магических светильников в библиотеке.

Он слышал эту музыку, но не мог воспроизвести её голосом. Его голосовые связки, его «магический аппарат» был устроен иначе. Он не мог петь в унисон с остальными. Он пытался, отчаянно пытался, но его голос либо срывался на фальцет, либо, как сегодня, взрывался какофонией, от которой шарахались все окружающие.

Эта недоступность, эта проклятая стена между ним и музыкой мироздания была его личным адом. Гораздо лучше было бы вообще не чувствовать магию, родиться абсолютным, глухим нулем, как большинство людей в мире. Тогда бы он не знал, чего лишен. Но знать, чувствовать, слышать — и не мочь прикоснуться... Это была изощренная пытка, которую он нес в себе с самого детства. Однако сказать всё это сейчас, выплеснуть свою боль перед этими безжалостными судьями, значило бы унизиться до жалких оправданий, до мольбы о пощаде. А Кай Айронвуд, даже раздавленный, даже растоптанный, не собирался давать им этого последнего, самого сладкого удовольствия — лицезреть его унижение и слышать его мольбы.

— Магия — это дар, — подвел черту Фаустус, тяжело поднимаясь со своего трона.

Он встал во весь рост, и оказался неестественно, пугающе высоким. В полумраке зала, в своей кроваво-красной мантии, с развевающейся седой бородой, он был похож на ветхозаветного пророка, сошедшего с древнего полотна, чтобы покарать грешников. В его голосе, когда он заговорил снова, не осталось ни яда, ни иронии. Только ледяной, абсолютный, не подлежащий обжалованию закон. Это был не просто вердикт. Это был ритуал. Изгнание из племени.

— А дар, запомните это крепко-накрепко, ибо это главный урок, который вы вынесете из этих стен, — дар нельзя выпросить упорством. Его нельзя заслужить. Его нельзя заработать трудом, выучить по книгам или купить за деньги. Он либо есть, либо его нет. Вы, Кай Айронвуд, — его лишены. Полностью и окончательно. И я, как декан этой Академии, Верховный Магистр Королевства, властью, данной мне Коронай и Советом Семи, на основании результатов практического экзамена и анализа вашей трехлетней успеваемости, объявляю вас профессионально непригодным к осуществлению магической деятельности любого рода.

Эти слова, словно тяжелый молот, ударили в набат, отдаваясь гулом в висках Кая. «Профессионально непригоден». Это не просто отчисление. Это клеймо, которое останется в его личном деле навсегда. Это волчий билет, который закроет перед ним двери любых государственных учреждений, любых магических гильдий, любых приличных домов. С этим вердиктом его не возьмут даже в ночные сторожа к купеческому каравану — кому нужен сторож, чье имя запятнано магической несостоятельностью?

— Ступайте, Кай, — хладнокровно, почти равнодушно произнес декан, указывая длинным костлявым пальцем на высокие дубовые двери в конце зала. Тот самый палец, на котором тускло блестел перстень с печаткой Академии. — Ступайте в общежитие. Соберите свои личные вещи. Вы должны покинуть стены этого учебного заведения до заката. Ваше обучение окончено. Ваша магическая карьера, — он позволил себе последнюю, прощальную усмешку, — закончена, не успев толком начаться.

Фаустус резко развернулся, взметнув полами своей мантии, словно крыльями гигантской летучей мыши, и тяжелой, величественной поступью направился к боковой двери, завешенной тяжелым гобеленом, на котором теперь зияла дыра от осколка. Профессора начали подниматься со своих мест, разминая затекшие ноги. Студенты на галерке загалдели, обсуждая

произошедшее. Представление окончилось. Приговор приведен в исполнение. Зрители покидали амфитеатр.

Кай не двигался. Он стоял на том же месте, в центре рунного круга, и смотрел на пустой постамент, где еще несколько минут назад лежал идеальный металлический шар. Теперь там была лишь горстка тусклой, ни на что не годной металлической пыли, которую вскоре сметет уборщик, да пара остро заточенных осколков. Его мир, его вселенная, его будущее — всё, чем он жил и дышал последние годы, — лежало сейчас на этом каменном кубе в виде пыли и мусора. Мечта, казавшаяся такой реальной и достижимой, когда он, восемнадцатилетний юноша с горящими глазами, впервые переступил порог Академии, разлетелась на куски от одного хладнокровного слова декана. Он чувствовал опустошение. Не гнев, не обиду — они придут позже — а именно опустошение, вакуум в душе, словно из него выкачали весь воздух.

Словно в тумане, ноги сами понесли его прочь из круга. Он развернулся и пошел к выходу через длинный, бесконечно длинный проход между рядами скамей. Этот путь показался ему самой долгой дорогой в его жизни. Длиннее, чем путь из родного поместья в столицу. Длиннее, чем три года унижений, спрессованные в один момент. Это был путь сквозь строй. Он шел, а они сидели по обе стороны, разговаривая, пересмеиваясь, и он физически, кожей, затылком, спиной чувствовал на себе их взгляды. Насмешливые, пренебрежительные, брезгливые, жалостливые — весь спектр унижения. До его слуха долетали обрывки фраз, вырванные из контекста, но острые, как бритва.

- ...просто поразительно, как он вообще первый курс осилил...
- ...видимо, папаша неплохо заплатил, чтобы его держали так долго...
- ...слышал, его род вообще проклят, там какая-то темная история...
- ...с таким треском вылететь — это ж надо уметь, я бы со стыда сгорел...

Он не оборачивался. Он запретил себе оборачиваться. Он смотрел только вперед, на массивные дубовые двери, которые с каждым его шагом становились всё ближе, всё реальнее. Его лицо, залитое нездоровым румянцем стыда, было лишено всякого выражения. Ни один мускул не дрогнул. Он нес свою голову высоко, хотя хотелось вжать её в плечи. Он расправил плечи, хотя хотелось съежиться в комок. Только в самой глубине его серых глаз, за пеленой боли и унижения, медленно, словно капля крови, сворачивающаяся в воде, разгорался опасный, темный огонек. Обида? Нет, обида — удел слабых. Злость? Отчасти, но не только. Это была воля. Та самая негибкая воля, которая позволила ему продержаться три года там, где любой другой сломался бы за месяц. Воля, выкованная в горниле постоянных насмешек и теперь закаленная в ледяной воде самого страшного, публичного, сокрушительного позора.

Он дошел до дверей. Огромные, в три человеческих роста, створки из мореного дуба, окованные черным железом. Он уперся ладонями в холодное дерево и толкнул. Тяжелая створка, скрипнув, словно прощаясь, начала медленно открываться. Ему в спину, как последнее напутствие, еще долетали смешки, свист и чьи-то выкрики. Дверь открылась ровно настолько, чтобы он мог протиснуться в образовавшуюся щель, и с глухим, утробным, каким-то гробовым стуком закрылась за ним, разом отрезав весь этот шум, свет и унижение. Она отрезала его от мира магии. От мира, который только что официально, при свидетелях и с печатью, признал его пустым местом. Абсолютным нулем. Ничтожеством.

Кай оказался в пустом, длинном коридоре. После яркого света амфитеатра здесь царил прохладный, серый полумрак. Свет проникал сюда только через высокие, узкие стрельчатые

окна, расположенные под самым потолком, рисуя на каменных плитах пола наклонные, пыльные квадраты, в которых лениво танцевали пылинки. Здесь было тихо. Так тихо, что он слышал биение собственного сердца — тяжелое, гулкое, как удары похоронного колокола. Он сделал несколько шагов вглубь коридора и прислонился спиной к ледяной каменной кладке. Ноги дрожали и отказывались держать его. Он сполз по стене вниз, больно царапая спину о шероховатый камень, и сел на корточки, уперев локти в колени. Закрыв лицо ладонями, вдавив пальцы в глазные яблоки так, что перед глазами поплыли цветные пятна.

Только сейчас, в этой спасительной тишине, наедине с самим собой, он позволил себе эту слабость. Десять секунд. Двадцать. Тридцать. Минуту. Он просто сидел и дышал, жадно глотая холодный, чуть затхлый воздух, пахнувший старым камнем, вековой пылью и слабым, едва уловимым отголоском магических формул, введшихся в эти стены за столетия. Запах поражения. У него теперь есть свой запах. Он будет помнить его всю жизнь.

В голове медленно, словно эхо в горах, повторялись слова приговора. «Профессионально непригоден». «Мертвый уголь». «Ты — ничто». Что делать дальше? Ответа не было. Только звенящая, космическая пустота в душе. Дороги назад нет. Дороги вперед — тоже нет. Он висел в вакууме. Перед его внутренним взором проносились картины возможного будущего. Вернуться домой, в родовое поместье? В усадьбу, где в каждом углу затаились тени прошлого, где вечно пахнет сыростью и увяданием? Предстать перед отцом — суровым, никогда не улыбающимся человеком, который и так считал магию пустой блажью, недостойной наследника древнего воинского рода Айронвудов? Увидеть в его глазах холодное, жестокое, убийственное «я же тебе говорил, мальчик». Выслушать его нравоучения о долге, чести и предназначении, которое он предал, променяв меч на пыльные фолианты? Стать управляющим поместья. Считать мешки с зерном, проверять счета за кузнечные работы, объезжать поля и следить за арендаторами. Жениться на какой-нибудь дочери соседа-землевладельца, нарожать детей и медленно, год за годом, угасать в этой тихой, сонной, бессмысленной жизни, чувствуя, как внутри медленно тлеет и умирает то самое, неуловимое, что делало его Каем, а не просто еще одним серым, безликим человеком из толпы?

Нет. От одной только мысли об этом его желудок сжался в болезненном спазме, а к горлу подступила тошнота. Лучше смерть. Лучше уйти в наемники, скитаться по большим дорогам, спать под заборами и питаться объедками, но не это. Это была бы не жизнь, а медленная, изощренная казнь, растянутая на долгие десятилетия. Он не мог так. Он был создан для чего-то иного. Он чувствовал это. Знал это каждой клеткой своего существа, даже сейчас, на самом дне отчаяния.

Он отнял руки от лица и посмотрел на свои ладони, вытянув их перед собой. Обычные человеческие ладони. Мозоли от долгих часов тренировок с мечом на плацу — единственное, что у него получалось действительно хорошо, единственное наследство предков-воинов, которое он не опозорил. Шрам через всю левую ладонь — детская дуэль с деревенским мальчишкой. Пальцы пианиста, как говорила мама. Но что толку от пальцев пианиста, если инструмент, на котором ты должен играть, сломан? Меч — это не магия. Мечом можно убить врага, но нельзя зажечь свет во тьме, нельзя создать щит, чтобы укрыть слабого, нельзя исцелить больного. Меч — это инструмент разрушения. А он хотел созидать.

— Почему? — прошептал он, обращаясь к равнодушным каменным стенам. Его голос прозвучал глухо и жалко. — Почему я чувствую её? Почему я слышу её музыку каждую

секунду своей жизни, но не могу прикоснуться? Почему мне дали уши, чтобы слышать, но отняли голос, чтобы петь? В чем смысл этой насмешки?

Вопрос повис в воздухе без ответа. Тишина коридора давила на уши, становилась почти осязаемой. Каю казалось, что даже стены здесь, в этом древнем здании, пропитаны магией до самой своей сердцевины, что каждый камень излучает слабое, едва заметное свечение силы. Но этой силе плевать на него. Она протекает сквозь него, как вода сквозь сухой песок, не задерживаясь, не насыщая, не питая. Он — пустыня, которую не способна напиться даже самая полноводная река. И это самое страшное в его проклятии.

Он снова и снова прокручивал в голове слова декана, пытаясь найти в них лазейку, зацепку, хоть что-то, что позволило бы ему не согласиться с приговором. «Вы — сухой, мертвый уголь». Сухой уголь. Уголь, который не может гореть. Но ведь уголь становится алмазом под чудовищным давлением и при невыносимой температуре. Может быть, ему просто не хватило давления? Может быть, он должен был пройти через это унижение, чтобы стать... кем? Алмазом?

И вдруг внутри него, в самой глубине его измученной, растоптанной, раздавленной, но всё еще живой души, на самом её дне, где, вопреки всему, еще теплился крохотный, как уголек в золе прогоревшего костра, огонек жизни, что-то дрогнуло. Тихо. Едва слышно. Не голосом, не мыслью, не словом. Это был импульс. Какой-то первобытный, животный, базовый сигнал, идущий не из мозга, а откуда-то из самой сердцевины его существа.

«Нет».

Кай замер, прислушиваясь к себе. Это была даже не мысль. Мысль можно анализировать, разложить на составляющие, оспорить. Это была суть. Истина, которая не требовала доказательств. Моё сердце всё ещё бьётся. Вопреки приговору, вопреки логике, вопреки очевидности. Оно стучит, мерно и гулко, разгоняя по венам горячую, живую кровь, наполняя каждую клетку тела той самой силой, которую не в силах измерить ни один магический прибор. Оно бьётся, потому что я жив. А пока я жив — ничего не кончено.

Он прижал ладонь к груди, туда, где гулко колотилось его сердце. Это биение было реальным, физическим доказательством того, что декана Фаустуса можно обмануть. Да, старик мог видеть магическое поле, но он не видел, или не хотел видеть, самого главного — упрямой, негибимой воли к жизни, которая горела внутри его «мертвого угля». Он вынес вердикт своему студенту, но он не мог вынести вердикт его судьбе. Судьбу вершат не деканы. Судьбу вершат боги, случай и сам человек. И пока сердце бьётся, человек остается хозяином своей судьбы.

«Дар нельзя выпросить упорством». Но я ведь и не просил, вдруг осенило его. Я ни разу не просил. Я требовал, я пытался, я старался, я подражал — но я никогда не просил. Я пытался играть по их правилам, взломать их систему изнутри, используя их методы. Но что, если их методы мне не подходят? Что, если я — не сломанный инструмент, а инструмент другой конструкции? Что, если ключ не в том, чтобы петь в унисон с их магией, а в том, чтобы найти свою собственную, уникальную ноту?

Ведь что такое, по сути, их экзамен? Проверка стандартных способностей в стандартных условиях. Если рыбу судить по её умению лазать по деревьям, она проживет всю жизнь, считая себя ничтожеством. Может быть, он — та самая рыба, которую упорно заставляли карабкаться

на сосну? Может быть, его стихия — не воздух, не огонь, не вода? Может быть, его магия — это то самое темное, взрывное, голодное нечто, что пробудилось в нём во время экзамена и разнесло шар? Сила, которую не признает официальная наука, которую боятся и ненавидят, которую его учили подавлять с первого дня в Академии? Что, если именно в ней — ключ к его освобождению?

Эта мысль была настолько дерзкой, настолько еретической, настолько близкой к той грани, за которой начинается бездна запретного знания, что Кай сам испугался её. Он вспомнил предупреждения на лекциях по истории магии: о темных колдунах, которые черпали силу из хаоса, о запрещенных гримуарах, которые сводили с ума своих читателей, о магах-отступниках, чьи имена были вычеркнуты из анналов и преданы забвению. Всё это считалось злом. Абсолютным, не подлежащим обсуждению злом. Но кто провел эту черту? Кто решил, что свет — это добро, а тьма — зло, а не просто две стороны одной монеты? Не те ли самые люди, что только что с таким наслаждением растоптали его, унизили, выбросили, как мусор? Имеют ли они право диктовать ему, что можно, а что нельзя, после того, что они с ним сделали?

Он медленно, опираясь о стену, поднялся на ноги. Тело всё еще дрожало, но это была уже не дрожь страха или стыда. Это была дрожь предвкушения, как у гончей, почуявшей след. Слабость отступила, уступая место холодной, расчетливой, злой решимости. Он больше не был жалким, сломленным студентом, вышвырнутым на обочину жизни. Он стал человеком, которому нечего терять. А человек, которому нечего терять, опаснее любого мага, потому что он не связан правилами.

Кай оттолкнулся от стены и впервые за долгое время встал ровно, расправив плечи не по обязанности, а по внутреннему велению. Он отправится в общежитие. Он соберет свои скудные пожитки, как было приказано. Но перед уходом, перед тем как покинуть эти стены навсегда, он нанесет один, последний визит. Визит в библиотеку. В секцию запрещенных и особо опасных трудов, доступ к которой открыт только магистрам с высшим уровнем допуска. В секцию, которую охраняют не только замки и чары, но и страх, внушаемый деканом.

Несколько месяцев назад, повинувшись какому-то безрассудному порыву, он сумел стащить у старика-архивариуса, вечно дремлющего на своем посту, ключ-отмычку от магического замка на двери в ту секцию. Тогда он сделал это просто из спортивного интереса, из чувства противоречия, не планируя ничего конкретного. Он даже не знал точно, работает ли ключ. Он спрятал его в щели под половицей в своей комнате и почти забыл о нем. Но теперь этот ключ, эта маленькая кража, совершенная почти случайно, могла стать его единственным шансом. Его билетом в новую жизнь. Или в бездну.

Если стандартная магия не подчиняется ему, если его «магический голос» сломан по их меркам, он найдет то, что подчинится. Он будет искать до тех пор, пока не найдет. Он перероет все запрещенные книги, он прочтает все гримуары, написанные безумными еретиками и отвергнутыми гениями. Он докопается до истины. Он узнает, что за тьма живет внутри него — проклятие или дар. И если это окажется даром, он примет его, даже если весь мир будет кричать, что это зло. Потому что мир, который отверг его, не имеет права голоса.

Его шаги гулким эхом разнеслись по пустому коридору. Он шёл прочь от дубовых дверей Зала Испытаний, с каждым шагом удаляясь от своего позора и приближаясь к чему-то новому, неизведанному, опасному. Он оставил за спиной смех, унижение и приговор. Там же, под сводами амфитеатра, осталась и его старая жизнь правильного студента, который старался быть

как все, который верил в систему и пытался заслужить её одобрение. Эта жизнь кончилась. Впереди была неизвестность, полная опасностей, запретных тайн и, возможно, разочарований ещё более страшных, но там, впереди, мерцал и шанс. Крохотный, почти призрачный шанс доказать не им, нет, они больше не имеют значения, а самому себе, что даже муравей, которого безжалостно раздавили ногой великана, может укунить в ответ. Может подняться, ведь его сердце, живое, горячее, упрямое сердце, бьющееся вопреки всем диагнозам и приговорам, отбивало четкий, ровный ритм в такт его шагам. Это был ритм новой, ещё не написанной песни, слова которой ему только предстояло узнать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.